

Александр Грин

Телеграфист из Медянского бора



Александр Грин Телеграфист из Медянского бора

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=569655

Аннотация

«Произошло что-то странное; может быть сон, так похожий на жизнь, что все его мельчайшие подробности отчетливо рисовались в мозгу, полные грозного, сложного значения действительно совершившегося факта.

Перед этим, до катастрофы, казался понятным и неизбежным момент острого, болезненного возбуждения тела и духа, переходящего все границы обычных человеческих волнений; момент бешеного упоения риском, экстатического порыва натянутых до последней крайности нервов, когда жизнь и смерть становятся пустыми, короткими словами без всякого смысла и значения...»

Содержание

I	4
II	8
III	11
IV	14
V	18
VI	20
VII	32
VIII	35
IX	40
X	46
XI	52
XII	56

Александр Степанович Грин Телеграфист из Медянского бора

I

Произошло что-то странное; может быть сон, так похожий на жизнь, что все его мельчайшие подробности отчетливо рисовались в мозгу, полные грозного, сложного значения действительно совершившегося факта.

Перед этим, до катастрофы, казался понятным и неизбежным момент острого, болезненного возбуждения тела и духа, переходящего все границы обычных человеческих волнений; момент бешеного упоения риском, экстатического порыва натянутых до последней крайности нервов, когда жизнь и смерть становятся пустыми, короткими словами без всякого смысла и значения.

Но фантастичность свершившегося заключалась не в громадной дерзости и отваге людей, безуспешно пытавшихся выполнить свою отчаянную задачу, а в безмятежном затишье летнего полудня. Он так же, как и раньше, как и сто лет

назад, спокойно голубел над землей, шевеля пустынным ветерком лиловый багульник, розовые мальвы и сухие, поседевшие от жары травы. Так же, как и час назад, мирно ползли облака и задумчиво шевелились мохнатые вершины елей, изредка роняя вниз, на бурую хвою, маленькие сухие шишки. Едва смолкли последние выстрелы и, загрохотав, замер вдали поезд, как спугнутая тишина снова оцепенела над землей, полная монотонного циканья кузнечиков, лесных вздохов и тихих голосов птиц, порхавших на опушке.

И когда Петунников, слепо тыкаясь в кусты и задыхаясь от внезапного тоскливого изнеможения, упал в мягкую еловую поросль, отуманенный бешеным стуком крови и тяжелой сутолокой напряженных, остановившихся мыслей, ему показалось, что ничего не было. Так доверчиво и спокойно лежала кругом хвойная, освещенная редкими солнечными пятнами лесная глушь, что происшедшее несколько минут назад горело в исступленном от возбуждения мозгу отрывками только что виденного и до ужаса похожего на действительность сна.

А между тем то, что было – было, и несло с собой неумолимую, мгновенно развертывающуюся цепь последствий, которых, правда, можно и избежать при счастья и ловкости, но во власти которых мог, если не сейчас, то потом, оказаться Петунников. Впрочем, теперь он не думал об этом. Отдельные сцены нападения скачками, без мыслей, вспыхивали перед ним помимо воли, как нарисованные.

До самой последней минуты, несмотря на то, что в поезде их было одиннадцать вооруженных, заранее, по уговору, севших людей, несмотря на полное сознание близости решительного момента, не верилось, что задуманное наступит. Даже осторожно и почему-то очень бережно сжав задрожавшими пальцами пыльный, красный рычаг тормоза Вестингауза, Петунников подумал беглыми, темными задами мысли, что все это до ужаса просто и именно так быть не может. А как – он не знал; но странным казалось, что даже в этот момент отчаянного риска внимание работает будничным, обычным порядком, пристально отмечая вырытые, гнилые шпалы, скучный говор колес, окурки, подскакивающие на площадке, запыленные стекла, спокойный, убегающий лес...

И только на обрыве последнего мгновения, когда сверкая отполированной сталью рельс, выступило крутое, ровное закругление, когда холодная, слепая тяжесть начала давить грудь, и рука, вдруг ставшая чужой, безотчетно потянула вниз заскрипевший рычаг, и быстро натянулась и лопнула гнилая, замазанная краской бечевка, пронзительно и тоскливо взвизгнули тормозные колодки, прильнув на бегу к быстро вертящимся колесам, и, громыхнув буферами, содрогнулись вагоны, как стадо степных лошадей, встретивших неожиданное препятствие, – тогда лишь звонкая, горячая волна хлынула в голову Петунникова, закричав тысячами резких, пьяных голосов, затопляя сознание лихорадоч-

ной быстротой ощущений и чувством действительной, полной бесповоротности.

И хотя над замершими вагонами сонно таяла голубая полуденная высь, а лес стоял зеленый и равнодушный к людям, оцепеневшим в страшной тревоге, воздух мгновенно стал звонким, хитрым и душным. Казалось Петунникову, что в нем самом бесследно растворилось и пропало его собственное тело, что мысли стали чужими и бешено торопливыми, как сухой, взвихренный ветром песок. Он спрыгнул на откос насыпи и, шумно дыша, побежал вперед, крепко сжимая рукой теплую сталь револьвера.

II

Все, что произошло потом – результат горячих двухнедельных споров, раздражения, осторожных, тонких расчетов, надежд и сомнений – совершилось с какой-то потрясающей, нелепой быстротой, бестолково и страшно. Снаряд не разорвался: брошенный между колес, он тупо стукнулся о шпалу, перевернулся и лег в песок, как старая пустая коробка. Откуда-то по крутой, глинистой насыпи, спотыкаясь и размахивая руками, бежали неизвестные, разно одетые люди, врассыпную стреляя из револьверов в сторону желтого почтового вагона. Один из них, маленький и худой, с плоским растерянно-торопливым лицом, отделился и побежал навстречу Петунникову мелкими, неровными шагами, выкрикивая на ходу тонким, странно обрадованным голосом: «Ага... Ага...» и неумело стреляя из тяжелого казенного револьвера. Когда между ним и Петунниковым осталось всего восемь – десять шагов, молодой человек вытянул руку и нажал спуск, почти не целясь, но со странной уверенностью в том, что не промахнулся. Сыщик перестал кричать и пошел шагом, все тише и тише, потом сел, уперся руками в живот и взвизгнул тоскливым, ровным голосом.

Петунников остановился, с тупым удивлением рассматривая раненого, безотчетно оглянулся и снова изо всех сил побежал дальше, к голове поезда. Издали он узнал четверых

с бледными, странно-чужими, озабоченными лицами; они стояли у площадки вагона и быстро, не двигаясь с места, словно делая какое-то страшно важное и спешное, но совершенно безопасное дело, стреляли в окна и на площадку. Сзади кто-то кричал бестолково и хрипло, эхо тревожно замирало в лесу. Из вагонных окон со звоном прыгали осколки стекла, и кто-то стрелял оттуда невидимый, мерно и ожесточенно разряжая револьвер.

Вдруг сзади неожиданно и сильно раздались выкрики:

– Сюда-а!.. Эге-ей!.. Эй!.. Солда-а-ты!..

Петунников обернулся назад и увидел бегущих товарищей. Они торопливо прыгали с насыпи, отчаянными и, как показалось Петунникову, страшно медленными движениями продираясь сквозь цепкую вересковую заросль опушки. Из задних вагонов бегло и дробно стучали винтовочные выстрелы.

Теперь весь поезд стонал и гудел, как озлобленный и шумный улей. Паровоз тяжело пыхал; белые, густые клубы дымного пара стлались по заросли. Петунников осмотрелся, стиснул зубы и, вдруг поняв, что все кончено, пустился бежать к лесу. За ним кто-то гнался, шумно, с топотом, треща сучьями и кустарником. Две-три пули провизжали над головой, но, не останавливаясь и не оглядываясь, прыгая через пни и валежины, охваченный внезапной тоскливой паникой, Петунников бежал так быстро, что жаркий, неподвижный воздух бил ему в грудь и лицо, как ветер.

Бежал он инстинктивно и прямо, без мысли и соображения, туда, где деревья казались темнее и гуще. Но лес все расступался и расступался перед ним бесконечной зеленой толпой, открывая новые поляны, ямы, заросли и валежины. От испуга и стремительного движения не хватало воздуха, дыхание вырывалось из груди хриплым, неровным шумом, и казалось, что лопнет сердце, не выдержав бешеного прибое крови. И была только одна мысль, одно желание – убежать как можно дальше от полотна. Временами казалось, что теперь опасность отдалена, что пора остановиться, прийти в себя. Но, как только он замедлял шаг, новый, слепой взрыв острого, нетерпимого страха болезненно встряхивал нервы и мускулы, толкая вперед. И снова, напрягая последние усилия, Петунников бросался дальше, как ошеломленный, затравленный зверь, пока не упал в мягкую хвойную поросль, бессильный, уничтоженный и разбитый, в состоянии, близком к обмороку.

III

Мысль о том, что, может быть, ничего не было, и все это — дикий, бессвязный кошмар, вместе с ясным и глубоким сознанием лесной тишины, была последняя. Настало полное тяжелое оцепенение, и Петунников, не шевелясь, чувствовал только свое измученное тело, лежащее навзничь в мягком сыром мху. Ныли и, казалось, всасывались землей разбитые мускулы, крупный горячий пот слепил глаза, быстрые огненные мухи сновали в воздухе. Кто-то ненасытно, хрипло дышал внутри его; неистово гомонило сердце, вздрагивая и наполняя лес огромными глухими толчками. Муравьи раздражали кожу, ползая по рукам и лицу, забираясь в рукава и за воротник, но не было сознания, что это муравьи и что можно стряхнуть их. Все тело от корней волос до натертых, горящих ступней беззвучно томилось жаждой полного, близкого к уничтожению и смерти покоя.

Прошло как будто и страшно много и страшно мало времени, когда Петунников, еще несколько раз глубоко вздохнув жадной, остывшей грудью, сообразил, где он лежит и почему. Страх прошел, канув в тишину лесного безлюдья, но еще оставались тревожная рассеянность мыслей и звонкое напряжение слуха, готовое схватить и сообразить малейший треск сучка, шорох падающей шишки, стук дятла. Маленькая, словно живой черно-серый орех, синица-гайка уселась

над головой Петунникова, вопросительно свистнула тоненьким, мелодичным свистом и перепорхнула на соседнее дерево.

Он встал, слегка пошатываясь, с закружившейся от утомления головой, встряхнулся, поправил фуражку и тоскливо огляделся. Вокруг печально и угрюмо ширилось лесное молчание, мягкие отсветы меланхолично падали в чашу кустарника и тихо двигались меж деревьями по извилистым, узловатым корням, уходя дальше сквозь толпу мохнатых елей и лиственниц в зеленую, жуткую глубину. Срываясь, замирали в тенистом воздухе редкие жалобные крики птиц; где-то ворочался дятел, мерно и озабоченно стучая клювом.

И постепенно, усиливаясь и загораясь желанием идти, двигаться, предпринять что-нибудь, росло глухое, беспокойное раздражение, вызванное сознанием, что прежнее направление, определявшее сторону, где проходила железная дорога, утеряно им безвозвратно с того самого момента, когда он, обессиленный и полузадохшийся, упал в кусты. Как ни силился Петунников ориентироваться, выходило до нелепости очевидно, что железнодорожная линия идет со всех четырех сторон сразу и что вместе с тем ее нет. Идти наудачу было рискованно не только из-за опасности попасть к станции и обратить на себя внимание служащих, но и потому, что можно было удариться не поперек, а вдоль огромного леса и проплутать неопределенное время без всякой надежды избежать розысков и поимки. И все-таки, несмотря на всю

неумолимую правильность этих соображений, ничего другого не оставалось, как просто... идти вперед.

IV

Долго и безостановочно шел Петунников большими, то-ропливыми шагами, со все возрастающим беспокойством, тщательно стараясь не уклониться от раз взятого направления. Шел он все прямо, через мочажины¹ и овраги, через огромные высохшие болота, усеянные частыми упругими кочками. Иногда кусты загораживали дорогу, и цепкие ветви больно задевали лицо. Вязкая лесная паутина садилась на вспотевшую кожу, как липкое, отвратительное насекомое. Небо стало туманнее и бледнее, глуше и сосредоточеннее возились невидимые птицы, и только тишина, глубокая, печальная тишина леса, навеявая тревожные, неотступные мысли, не давала заметить Петунникову густых пряных испарений вечерающего дня.

На ходу он думал, отрывочно углубляясь в отдельные эпизоды событий, и ясным становилось ему, почему так сложно и хорошо обдуманное предприятие кончилось печальным, непредвиденным крахом. Еще там, в городе, перед тем, как сесть в поезд, стало известно, что на этот раз воинская охрана не сопровождает деньги и что отправляются они, по-видимому, без всяких особых мер предосторожности. Тогда это не показалось ни странным, ни удивительным; напротив,

¹ Мочажины – топкое место.

возбужденное состояние, в котором находились все, рисовало картины необычайной и красивой легкости ограбления.

Теперь же, вспоминая неизвестных людей, стрелявших на бегу в него и его товарищей, Петунников видел, как глупо они, увлекающиеся конспираторы, попали впросак. Очевидно, охрана, состоявшая из сыщиков или переодетых жандармов, сидела, как и они, в вагонах под видом пассажиров третьего класса. И даже смутно и неуверенно, как сквозь сон, Петунникову припомнились отрывистые, характерные звуки винтовочных выстрелов.

Точно ли не было солдат? А если их прятали, то с какой целью? Быть может, в надежде, что революционеры, введенные в обман, не станут взрывать вагона? Петунников вспомнил неудачный снаряд и криво усмехнулся. Но все-таки ясным и несомненным было то, что о готовящемся нападении или знали, или просто ожидали его ввиду большой, соблазнительной суммы денег.

Мысль о деньгах, однако, не вызвала у Петунникова ни сожаления, ни досады; слишком была велика ставка в этой игре, ставка собственной жизнью, чтобы ход, сыгранный вничью, по крайней мере для него, заставил пожалеть о возможном и потерянном выигрыше. Товарищи его, вероятно, пока тоже избегли преследования, хотя, почему так думается, он не знал. Возможно, что, раненный и арестованный, он думал бы наоборот, т. е. что и все ранены и арестованы. В сущности оставалось благодарить судьбу, что не кончилось хуже,

но радости никакой не было, а была тревога, заброшенность и усталость.

Чем дальше шел он, тем сильнее росла уверенность, что он действительно заблудился и совершенно беспомощен. Ясно было одно, что до опушки далеко, так как деревья все время тянулись крупные, высокие, на свободном, ровном расстоянии друг от друга, а он знал, что опушка больших лесов – сплошная, дикая чаща. Полная неопределенность положения, незнание местности и мучительный вопрос «что же делать?» подгоняли его сильнее всяких соображений о риске. Он шел с лихорадочной быстротой, время от времени закуривая папиросу, чтобы отогнать комаров и возбудить разбитое, ослабевшее тело. Но по-прежнему утомительно и однообразно строгие, сумрачные деревья расступались перед ним, смыкаясь за его спиной зеленым, жутким молчанием. А когда, несмотря на огромное напряжение воли и решимости выбраться как можно скорее из этого глухого, дикого леса, острая, болезненная ломота в коленях и ступнях стала замедлять шаги Петунникова, в душу его проник маленький, одинокий страх, как струйка ночного холода в согретую постель спящего человека.

Сумерки надвигались и плыли вверху, в резких изломах вершин, холодными, темнеющими клочьями вечернего неба. Внизу стало еще тише, еще тревожнее; деревья не рисовались, как днем, отчетливо, прямыми, стройными очертаниями, а сквозили и расплывались в сырой мгле черной мас-

сой стволов, окутанной темной громадой хвои. А он все шел, упрямо, механически шагая разбитыми ногами, с тяжелой, одурманенной головой, полной неясных шорохов и унылых вздохов огромного засыпающего леса.

V

Ночь настигла Петунникова неторопливо и равнодушно, властно и медленно, как всегда, погружая лесную равнину в глухой, смолистый мрак и сонную жуть. Когда стало совсем темно и идти наугад, ощупью значило уже совсем без толку кружиться на одном месте, Петунников остановился, ощупью сгреб несколько охапок валежника, зажег их и в мучительно сладком изнеможении сел на землю, радуясь смелому, беглому треску костра и дымному, трепетному огню. Бессознательный ночной страх, рожденный мраком и безмолвием, отодвинулся за угрюмые стволы елей и замер. Круг света, бросаемый пламенем, то вспыхивал ярче и отгонял еще дальше черную пустоту ночи, то суживался, бледнел, и тогда казалось, что темная масса воздуха прыгает к Петунникову, стремясь поглотить раскаленные, горящие сучья.

Согнувшись и механически подбрасывая в огонь засохшие прутья, он думал о том, что выход из настоящего положения один: пробраться к заселенному месту, выяснить, где почтовый тракт, и двинуться пешком обратно в город. По его расчету до города не могло быть более ста пятидесяти верст, значит, через трое суток, если его не поймают, можно попасть к своим, отдохнуть и уехать. Идти он решил по ночам, а днем спать где-нибудь в канаве или кустах.

Проснулся и заворочался голод, но это не так беспокоило

ло Петунникова, как тревожный, сосущий жар и слабость внутренностей вместе с дразнящим желанием холодной, чистой воды. Пытаясь обмануть себя, он стал размышлять о предстоящей дороге, но чувство, сознанное и выраженное мыслью, настойчиво требовало удовлетворения. А когда он сорвал какой-то стебелек и начал жевать его, жадно глотая обильную слюну, им овладело уныние: мучительно хотелось пить...

Черная лесная жуть толпилась вокруг, вздыхала вершинами, прыгала по земле уродливыми тенями красного трепетного огня. Костер потрескивал и шипел, свертывая и мгновенно воспламеняя зеленую смолистую хвою. На ближайших стволах горели желтые отблески, гасли и загорались вновь. Все спало вокруг, сырое, мохнатое и немое. И казалось Петунникову, что только двое бодрствуют в уснувшей лесной равнине – он и дикое, дымное пламя ночного костра.

VI

Пятно солнца, медленно двигаясь по одеялу, прильнуло к смятой, пышной подушке, и от близости пыльного утреннего луча в лицах спящих людей неуловимо дрогнули светлые тени и сомкнутые ресницы. Дыхание стало неровным, зашевелились сонные губы, и казалось, что в свежем раннем воздухе натянулись невидимые, паутинно-тонкие струны, готовые проснуться и вздрогнуть звуками ленивых, полусонных человеческих голосов.

Пятно медленно, как часовая стрелка, передвигалось влево, коснулось бритого, загорелого подбородка, изогнулось, позолотило рыжеватые усы и протянуло от голубого сияющего неба к плотной скуле Григория Семеновича воздушную струю солнечной пыли. Варламов открыл один глаз, вздрогнув бровью, быстро зажмурился, потянул одеяло, проснулся и сразу увидел спальню, подушки, ширмы и крепко спящую, розовую от сна жену.

Варламов выпался, но сладко потягиваться всем крепким, сильно отдохнувшим за ночь телом было приятнее, чем вставать, одеваться и вообще начинать суетливый деловой день. Он полежал с минуту на спине, закинув большие волосатые руки под коротко стриженную голову, зевнул широко и сильно, с наслаждением разжимая челюсти, и посмотрел на жену искоса, не поворачивая головы. Она лежала так же, как

и он, на спине; одна рука с согнутыми пальцами упиралась в щеку, другая пряталась под сбившимся голубым одеялом. Ее маленькие круглые плечи отчетливо рисовались здоровой, матовой кожей на смятой белизне подушки. С каждым вздохом спящей женщины медленно, едва заметно приподнималась и опускалась высокая грудь, небрежно опоясанная кружевным узором рубашки.

Варламов смотрел на жену, и в нем, постепенно прогоняя остаток сонливости, нарастало привычное, властное желание.

– Леночка! – сказал он негромко, задерживая дыхание. – Спишь?..

Веки зашевелились, дыхание на секунду остановилось и вылилось в полном, глубоком вздохе. Варламов повернулся на бок и слегка обнял жену за плечи. Елена открыла глаза и, еще не совсем проснувшись, остановила на муже бессознательный, недовольный взгляд.

– Ну, что? – протянула она, сладко зевая, и прибавила: – Сплю... Ведь видишь.

– Леночка, – заговорил Варламов умильным, просящим голосом. – Вставать надо... а? Дорогая моя женочка...

Он сладко улыбнулся и поцеловал молодую женщину в теплые, темные завитки волос между шеей и маленьким точеным ухом. Елена закрыла глаза и прежним капризным голосом протянула:

– Оставь, Гриша! Ну, оставь же... Я спать хочу! Оставь,

Гриша, ну же!

Она решительно повернулась к нему спиной.

В окнах пестрел зелеными отблесками светлый утренний воздух; слабый, задумчивый ветерок наполнял комнату запахом влажной земли, зелени полевых трав. Елена повернула голову, глядя широко открытыми, проснувшимися глазами в какую-то воздушную точку, погруженная в ленивую расслабленность и приятный утренний бездумный покой. За ширмой, скрипя стулом, ворочался муж. Елена безотчетно представила себе его аккуратную, прямую фигуру с заспанным румяным лицом и пушистыми рыжими усами. Он скрипит ботинками, щелкает пряжками подтяжек, фыркает и стучит умывальником; вот, кажется, надевает чесунчиковый пиджак.

Все это он делает молча, быть может, сердится за ее холодность. Не разбуди он ее, пожалуй, можно было бы отнестись снисходительнее к его нежности, но почему надо будить? Как будто нельзя встать и одеться без нее, напиться чаю и идти там по разным своим скучным делам. Утром так сладко спится. Хочется бесконечно блаженно дремать, не думая о разных надоедливых и тошных обязанностях домашней жизни.

– Ленуся, спишь?.. – осторожно спросил Варламов, подойдя к ней. – Моя маленькая ленивица!..

Он взял ее голую, теплую руку и сочно поцеловал в кисть. Жена нравилась ему всегда, и он не без удовольствия думал о возможной зависти знакомых. Одетая и причесанная, она

казалась слегка чужой, особенно при посторонних, но нагота ее была доступна только ему, и тогда сознание, что эта женщина – его жена, собственность, было полнее и спокойнее.

– Я бы еще спала! – помолчав, зевнула Елена. – И даже сон видела... Сон... такой... ну, как тебе сказать? Будто я в цирке...

– Вот как? – почему-то удивился Варламов, думая о близкой плате поденщикам, работавшим на огороде. – В цирке... Ну... и?..

– Вот я забыла только, – озабоченно и серьезно произнесла Елена, – кем я была?.. Не то наездницей, не то из публики... просто... Я на лошади скакала, – засмеялась она. – Так быстро, быстро, все кругом, кругом, даже дух захватило. А вся публика кричит: «браво! браво!» И мне хочется скакать все быстрее, быстрее, а сердце так сладко замирает... Страшно и приятно...

– Значит, когда я тебя разбудил, то снял с лошади, – рассеянно сказал Варламов. – Иначе бы ты упала и разбилась... Леночка, я пойду в столовую. А ты?

– Я скоро, иди... – сказала Елена и, заметив, что муж хочет поцеловать ее в шею, быстро прибавила: – не тронь!.. Я сегодня стеклянная.

Варламов прошел в большую, светлую столовую, где на круглом белоснежном столе слабо шипел, попискивая и замирая, серебряный самовар. Аккуратно расставленная посуда, ножи и ложечки сияли холодной чистотой сытой жизни,

а на краю стола, там, где всегда садился Варламов, лежала столичная газета.

Дверь на террасу была открыта, и старые пышные деревья сада ровной толпой уходили вдаль, сливая в зеленой глубине серые изгибы дорожек, запятнанных солнцем, черные стволы и яркие точки цветущих клумб. Щебетали птицы, со двора неслись ленивые выкрики. Над террасой стояло июльское солнце, золотило комнатный воздух и сотнями микроскопических солнц блестело в вымытой белизне посуды.

Варламов прошелся взад и вперед, потирая руки, свистнул, радуясь хорошему дню, сел на плетеный стул и развернул газету. Газет он вообще не любил и выписывал их единственно из убеждения, что следить за политикой необходимо для культурного человека. Ему хотелось есть и пить чай, но он терпеливо ждал прихода жены. Мысль о том, что можно налить чаю самому, даже не приходила ему в голову. Кроме того, он не любил пить или есть без жены и всегда с бессознательным чувством спокойного благополучия следил за неторопливыми движениями рук Елены, наливающей суп или чай. За столом он мог совсем не говорить и не испытывал от этого никакой неловкости. Если жена рассказывала что-нибудь, Варламов слушал и кивал головой; если молчала или читала, он, также молча, с удовольствием следил за ней глазами и добродушно улыбался, когда она, подымая голову, взглядывала на него.

– Здравствуй! – сказала Елена, входя и привычным дви-

жением нагибаясь для обычного утреннего поцелуя. – Ты поедешь сегодня?..

– Мы, собственно говоря, проспали, – ответил Варламов, нетерпеливо глотая слюну. – Теперь я опоздал на десятичасовой. Можешь представить, когда я вернусь? Вечером... А отчего у тебя круги под глазами. Смотри, какие синие...

– Круги? – равнодушно переспросила Елена, открывая сахарницу. – Вот уж, право, мне совершенно все равно...

– Ну, да... – улыбнулся Варламов. – Так я тебе и поверил. И личико бледное... Ты, я думаю, переспала... а?

Елена сердито звякнула ложкой.

– Я не переспала, а мало спала! – возразила она тем особенным, раздражающим голосом, который почти всегда служил для Варламова признаком неизбежной сцены. – Я же малокровная, ты это прекрасно знаешь, а притворяешься. В прошлый раз доктор, кажется, при тебе это говорил, Гриша... И что мне нужно больше спать...

– Я хотел сказать... – запнулся Варламов, усиленно прихлебывая чай. – Впрочем, что же такое?.. Здесь деревня... гм... двенадцать часов... По-деревенски это...

Он примирительно кашлянул, но Елена молчала, притворяясь занятой намазыванием на хлеб икры. Варламов подождал немного и снова заговорил:

– Отчего ты сердишься? Я не люблю, Еленочка, когда ты начинаешь вот так сердиться без всякой причины. Ну, что такое, почему?

– Я не сержусь...

– Да как же нет, когда я прекрасно вижу, что ты не в духе и сердишься, – настаивал он, сам начиная ощущать тоскливое, жалобное раздражение. – Пожалуйста, не отпирайся!.. Сердишься. А почему, неизвестно...

Елена еще плотнее сжала губы.

– Да нет же, я совсем не сержусь...

Григорий Семеныч огорченно пожал плечами и развернул газету. Но через минуту помешал в стакане и, стараясь подавить мгновенную тонкую струйку обоюдного недовольства, сказал:

– У меня разные дела в городе. Прежде всего надо заказать стекло для парников... Потом с этими процентами... Да еще посмотреть Гуцинский локомобиль, но я думаю, что он врет... Наверное, с починкой, очень уж дешево... А тебе... нужно что-нибудь?..

– Мне? – холодно спросила она. – Что же мне может быть нужно? Нет.

– Это уж тебе знать, – кротко заметил Варламов. – Что ты... такая странная? Это невесело.

– Ну и уезжай себе, если скучно! – раздраженно подхватила Елена. – Разве я держу тебя? Скучно – ну и уходи... Чини свои локомобили и парники... Можешь также пойти в клуб и проиграть лишних двести рублей... мне... меня это не касается.

– Еленочка! – взмолился Григорий Семеныч, вставая и

подходя к ней. – Детка моя! Ну, будет, брось... Я – дурак, довольно, Еленочка.

Он взял ее руку, потянул к себе и поцеловал маленькие, мягкие пальцы. Она не сопротивлялась, но в ее бледном, капризном лице по-прежнему лежала тень застывшего упрямства и скуки. Варламов опустил руку и тоскливо вздохнул.

– Ты, я вижу, ссориться хочешь, – сказал он печальным голосом, – но, ей-богу, я ни при чем... Ну, скажи, что я сделал, чем виноват?..

Елена сидела неподвижно, упорно рассматривая самоварный кран круглыми, остановившимися глазами, и вдруг, неожиданно для себя самой, жалобно и горько заплакала, беспомощно всхлипывая трясущимся, побледневшим ртом. Крупные, медленные слезы падали на скатерть, расплываясь мокрыми пятнами. И так было странно, тяжело видеть молодую, хорошенькую женщину плачущей в уютной, светлой комнате, полной веселого утреннего солнца и зеленых теней, что Варламов растерялся и беспомощно стоял на одном месте с глупым, покрасневшим лицом, не зная, что делать. Но в следующее мгновение он встряхнулся и бросился к маленькой, вздрагивающей от плача фигурке. Он обнял ее за плечи, целуя в голову и бормоча смешным, детским голосом ласкательные слова:

– Крошка моя... Ну, деточка, ну, милая, ангельчик мой!.. Ну, что же ты, зачем, Еленочка?..

Прошло несколько томительных секунд, и, вдруг, плач

прекратился так же внезапно, как и начался. Елена перестала всхлипывать, выпрямилась, с мокрым, блестящим от слез лицом попыталась улыбнуться, бросила на Варламова просительный, ласковый взгляд и заговорила жалобным, но все еще сердитым, дрожащим голосом:

– Это нервы, Гриша... ты не обращай... ну, ей-богу же, просто нервы... потом, я плохо спала... голова болела, ну... Вот видишь, я перестала, вот...

Она рассмеялась сквозь слезы и принялась усиленно тереть кулачками вспухшие, красные глаза. Варламов сел, взволнованно откашлялся и шумно передохнул.

– Ты просто пугаешь меня, – сказал он, успокаиваясь и крупными глотками допивая остывший чай. – Так вот... ни с того, ни с сего... Сегодня... на прошлой неделе тоже что-то такое было... К доктору, что ли, мне съездить, а? Еленочка?

– Как хочешь, все равно, – протянула Елена упавшим голосом. – Но ведь я здорова, что же ему со мной делать?

– Доктора уж знают, что делать, – уверенно возразил Варламов. – Это мы не знаем, а они знают... Вот ты говоришь – нервы. Ну, значит, и будет лечить от нервности.

– Да-а... от нервности... – капризно подхватила Елена. – А вот если мне скучно, тогда как? А мне, Гриша, каждый день скучно, с самого утра... Ходишь, ходишь, слоняешься, жарко... Мухи в рот лезут.

– Вот это и показывает, что у тебя расстроены нервы, – с убеждением сказал Варламов, расхаживая по комнате. –

Нервы – это... Здоровому человеку не скучно, и он, например, всегда интересуется жизнью... Или найдет себе какое-нибудь занятие...

Он чувствовал себя немного задетым и в словах жены нащупывал тайный, замаскированный укор себе, но так как он ее любил и был искренно огорчен ее заявлением, то и старался изо всех сил придумать что-нибудь, могущее, по его мнению, развлечь и развеселить Елену. Сам он никогда не скучал, вечно погруженный в хозяйство, и значение слова «скука» было известно ему так же, как зубная боль человеку с тридцатью двумя белыми, крепкими зубами.

– Да, господи! – говорил он, останавливаясь и пожимая плечами. – В твоих руках масса возможностей... Ну, хорошо... Гуляй, что ли... поезжай в город, в театр... навести родных... ты, вон, цветы любишь, возишься с ними... Да мало ли что можно придумать?..

Елена рассеянно теребила салфетку, и нельзя было понять, о чем она думает. Варламов помолчал, но видя, что жена не возражает, снова заговорил довольным, рассудительным голосом.

– Вот в чем дело-то... Кстати, хочешь, приглашу погостить директоршу. Можно поехать в лес или к Лисьему загону, например...

– Гриша! – сказала Елена, поднимая голову, и голос ее вздрогнул капризной, тоскливой ноткой. – Гриша, мне скучно! Скучно мне!..

Варламов перестал ходить и с глубоким, искренним удивлением увидел большие темные глаза, полные слез. Он крикнул, тупо мигнул и вытащил руку из кармана брюк. Елена продолжала, стараясь не волноваться:

– Григорий! Я же не виновата, что я такая... Мне все надоело, решительно все, и сама я себе надоела... А чего мне хочется...

Она беспомощно развела руками и рассмеялась вздрагивающим, нервным смехом, покусывая губы. Потом закрыла глаза и грустно прибавила:

– Хоть бы ребеночка нам, право...

В другое время Варламов был бы растроган и умилен этим желанием, но теперь, когда все его соображения относительно скуки были встречены одним коротким, простым словом «скучно», тупое недоумение перед фактом разрослось в нем грустью и маленьким, обидчивым раздражением. Он даже не обратил внимания на последние слова Елены и сказал, стараясь говорить кротким, сдавленным голосом.

– Ну, Елена, я за тебя знать не могу. Но я крайне... крайне озадачен... Кажется, я все... Ты обеспечена... Я не стесняю... зачем же так? Я не виноват, Елена!

– Я и не обвиняю, – холодно возразила молодая женщина. – При чем тут ты?!

«Она нечаянно сказала правду, – подумал Варламов, вытаскивая золотые часы и прищуриваясь на циферблат. – При чем тут я? Хандрит... Пройдет!»

– Мне пора, – вздохнул он, подойдя к жене и целуя ее в мягкую, холодную щеку. – Я вернусь к одиннадцати, и ты еще успеешь стать пайнкой... Знаешь, – он улыбнулся снисходительно и довольно, – когда человек расстроен, ему лучше побыть одному. А мое присутствие тебя раздражает.

– Меня все раздражает, – тихо процедила Елена. – Все... вот этот самовар, и тот... И солнце... чего оно лезет в глаза?..

– Иду, иду!.. – деланно засмеялся Варламов, махая руками. – Ухожу. Глафира-а!..

Вошла белорусая, румяная горничная, и Варламов распорядился запречь в дрожки Пенелопу, маленькую, гнедую кобылу. Горничная ушла, мимоходом подобрал брошенный на пол окурок, а Варламов пошел в кабинет взять деньги и папиросы.

VII

Когда он уехал, Елена пошла к себе, села перед туалетным столиком и долго перебирала шпильки, внимательно рассматривая в холодной пустоте зеркала свое хорошенькое, скучающее лицо. Потом нашла, что у нее сегодня очень томный и интересный вид, вспомнила обиженное лицо мужа и самодовольно улыбнулась. Пускай чувствует, что такое супружеская жизнь.

На скотном дворе мычали телки, откуда-то падал в тишину ленивый стук топора. Елена кое-как собрала волосы, напевая сквозь зубы, потянулась, зевнула и, так как одеваться ей было лень, решила, что лиловый капот – самый легкий и удобный домашний костюм.

Жаркое летнее молчание дышало в окно безветренным, сухим воздухом, томило и дрожало. И тягучее, расслабленное настроение, овладевшее женщиной, напомнило почему-то ей sereneкие годы уездного девичества, прогулки по тощему, высохшему бульвару, жидкий военный оркестр, игравший по воскресеньям марши и вальсы, чтение романов, беспричинные слезы и беспричинный смех, чаепитие под бузиной, сплетни и туманные, томительные мечты о «нем», далеко, неизвестном человеке, с приходом которого как-то странно соединялось представление о яркой, интересной жизни, возможной и желанной. Тогда казалось, что все еще

впереди, и что настоящее, где каждый день до нелепости похож на другой, только неизбежная ступень к заманчивому, интересному будущему. О том, что такое это будущее, и что в нем хорошего, и почему это хорошее должно наступить, – даже не думалось. А если и думалось, то с неясной, сладкой надеждой, и казалось, что, как ни думай, все же будет страшно приятно и хорошо.

Год замужества прошел скоро и бестолково. Первые впечатления брачной жизни, новизна положения, взволнованность и острота ощущений тешили Елену, как новая, неожиданно купленная игрушка. Приезжала родня с острыми, истерически-любопытными глазами, ела, пила, ходила по усадьбе, рассматривая коров, овец, ярко выкрашенные новенькие машины, сеялки, веялки, молотилки, механические грабли, вздыхала и завидовала. И когда Елена, с сияющим, смущенным лицом, розовая и оживленная, болтала без умолку о своей новой и обеспеченной, завидной для всех жизни, поминутно взглядывая на торжественное, довольное лицо мужа, – жизнь казалась ей приятной и восхитительной, а Варламов – милым, добрым и умным человеком, к которому, кроме благодарности, нужно чувствовать и любовь. И хотя любви к нему она не испытывала, но была уверена, что спать с ним, принимать его подарки и ласки, а в холодные дни завязывать ему шарф – значит любить.

А потом, постепенно, с каждым новым днем, сытно ускользавшим в пространство, подошло и укрепилось созна-

ние, что все самое лучшее уже было и ничего нового, неизвестного впереди нет. Были, правда, мечты о ребенке и возне с ним, но в мечтах этих муж не играл никакой роли и казался даже странно чужим, посторонним человеком, которого все, и она сама, будут называть «отец», «папа», и который в веселые минуты станет щекотать пальцем животик ребенка, вскидывать брови и говорить сладким, деревянным голосом: «Агу! Агу!»

Елена закрыла глаза и вслух, негромко, произнесла: «Гриша – отец». Но тут же ей стало смешно, потому что слово «отец» непонятным образом превратило лицо Григория Семеныча, мысленно представленное ею, в лицо ее собственного отца, дряхлого старика в поношенном военном сюртуке, страдающего параличом и одышкой. Елена нетерпеливо встряхнула головой, встала и вышла на террасу, захватив новенький переводной роман.

VIII

Увидев хозяйку, огромный черный водолаз Полкан приподнялся на передних лапах, выгнул шершавую спину, зажмурился и протяжно, громко зевнул, помахивая хвостом. Потом встал, встряхнулся и, мерно ступая мягкими, мохнатыми лапами, подошел к Елене, заглядывая ей в лицо умными, большими глазами.

– Полкан, здороваться! – строго прикрикнула она, протягивая руку.

Собака лениво потянула воздух влажным черным носом и медленно приподняла лапу, тяжело дыша разинутым от жары ртом.

– Дрянь собака, – притворно сердясь, сказала молодая женщина, оживленная ярким солнцем и бодрой, трепетной зеленью старых лип. – Бяка... У-у!..

И так же притворно морда Полкана приняла огорченное, жалкое выражение. Он боком, высунув мокрый язык и опустив голову, смотрел на хозяйку, ожидая привычных ласковых слов.

– Ну, хорошая, ну, умная собака!.. – важно сказала Елена, кладя свою маленькую руку на огромную мохнатую голову. – Милый мой, добрый песик Полкан...

Полкан утвердительно гавкнул басом и бодро замотал хвостом. Они понимали друг друга. Елена задумалась, не от-

нимая руки и медленно вдыхая густой, сочный воздух. Ей захотелось пойти в какой-нибудь укромный, тенистый уголок, лечь на траву и читать, но также хотелось взять удочку и водить леской в тихой, прозрачной воде, разглядывая горбатые, темные спинки рыб, снующих над вязким, илистым дном.

Из-за угла дома вышла кухарка, длинная, сухопарая женщина с коричневым от загара лицом. Еще издали Елена услышала ее быстрый, певучий говор, при звуках которого почему-то сразу начинало пахнуть дровами, плитой и сырым мясом.

– Вас, барыня, ищу-то! – заговорила она, прикрываясь от солнца худым, желтым локтем. – На первое, значит, борщ барин вчера заказывал... Я борщ-то собрала, только свекол-ки молодой нету, чисто беда...

Она подошла к террасе и остановилась, вытирая засаленные пальцы о синий холщовый передник.

– Жаркого не придумаю, какого бы ни на есть, – продолжала кухарка, озабоченно поджимая губы. – Ежели, например, баранину, так барин до баранины не очень охоч... Разве курицу с рисом, Елена Митревна?

– Все равно, хоть курицу, – сказала Елена. – Барин придет вечером, а мне все равно.

– Разве што курицу, – согласилась кухарка, обдумывая, какую курицу заколоть. – Я еще, как седни встала, так про курицу думала... Так курицу, барыня?..

– Две курицы!!.. – рассердилась Елена. – Три, четыре, пять... сто куриц!.. Какая у тебя привычка спрашивать по десяти раз!..

Не вступая в дальнейшие объяснения, она подхватила подол платья и пустилась бегом по аллее, на ходу оборачиваясь и крича: – Полкан! Полкан!

Собака бросилась за Еленой большими, ленивыми прыжками, гавкая и припадая к земле. На повороте Полкан догнал отбившуюся от него хозяйку, положил ей лапы на грудь и тяжело задышал прямо в лицо, стараясь лизнуть Елену, но она вывернулась и снова пустилась бежать, не замечая, что Полкан отстает только из вежливости и, по-видимому, не особенно расположен бегать. У маленькой хмелевой беседки Елена остановилась, раздумывая, войти туда или нет, потом вошла и, запыхавшись, села на узенькую зеленую скамейку. Полкан завилял хвостом, зевнул и грузно опустился на пол к ее ногам, уткнув морду в вытянутые передние лапы.

Елена выпрямилась, изогнулась всем своим маленьким стройным телом, развернула книгу и принялась читать длинный фантастический роман, полный приключений и ужасов. Тянулась бесконечная интрига злодеев с добродетельными людьми, где, невзирая на усилия автора, преступники и убийцы выходили почему-то живее и интереснее самых добрых и самых благородных людей. Впрочем, все они действовали с одинаковой жестокостью друг к другу, не давая спуска ни правому, ни виноватому.

Когда надоело читать, Елена закрыла глаза, стараясь вообразить себя пленницей, спрятанной в каком-нибудь пустынном и таинственном месте. Но вместо каменного угрюмого замка с башнями и подземными ходами упорно рисовалась чистенькая веселая усадьба, амбары с хлебом и сеном, каретник, скотный двор, залитый навозной жижей, и приказчик Евсей, аккуратный, богомольный мужик, подстриженный в скобку. В ухе у него серебряная серьга, а сапоги – бутылками. А дальше, уходя к далекому, бледному от жары небу, тянулись волнистые хлебные поля, охваченные синими изгибами леса. И не было таинственного похитителя, а был муж, Гриша, безобидное, деловое существо с мягкими рыжими усами, скучное и ласковое.

Вдруг Полкан вскочил, гавкнул, прислушиваясь к чему-то, понятному и значительному только для него, оглушительно залаял и бросился со всех ног под уклон аллеи, прямо к пруду. Елена вздрогнула, встрепелулась и встала, Полкана уже не было возле, только его неистовый, раздраженный лай удалялся все быстрее и быстрее, наполняя июльскую тишину громкими гневными звуками.

– Полкан! Сумасшедший!.. – закричала она, пускаясь по аллее бегом. – Полкан! Иси, сюда!

Но Полкан не слышал. По-видимому, теперь он остановился, привлеченный чьим-то присутствием, и бурно, свирепо лаял, забыв все на свете, кроме предмета своего гнева. И когда Елена выбежала к пруду, с тревожным любопытством

оглядываясь вокруг, то увидела неизвестного ей, слегка растерявшегося человека, и в трех шагах от него бешено лающего Полкана, сразу потерявшего сонную флегму добродушного пожилого пса.

IX

На следующий после нападения день Петунников вышел к лесной опушке. Глубокая, жадно вздрогнувшая радость блеснула в его измученном, посеревшем лице навстречу пышной желтизне полей и голубому воздуху, раскаленному полуденным зноем.

Когда после долгого, суточного блуждания в дремучей глуши перед ним неожиданно и далеко сверкнули крошечные голубые прорехи опушки, последний трепет возбуждения встряхнул его истомленное, ослабевшее тело и лихорадочно-быстрыми шагами направил туда, где меж тонких, частых стволов пестрела цветами сочная, мшистая луговина. Он выбрался на простор, запыхавшись, с тяжелой от жажды и бессонницы головой, сел на пенек и осмотрелся.

Перед ним, заливая холмистое поле, струился в потоках света золотистый бархат ржаных волн, разбегаясь от знойной, воздушной ласки беглыми сизыми переливами, а сверху, из голубой опрокинутой глубины сыпалось невидимое, неугомное серебро птичьих песен. Там, на огромной, недосыгаемой высоте, опьяненные летом и солнцем, страстно звенели жаворонки, и казалось, что поет сам воздух, хрустальный и звонкий. На межах пестрела белая и розовая кашка, лиловый клевер, темная, лаковая зелень придорожника. Вправо и влево, распахнув огромные хвойные крылья,

тянулся и синел лес, разрезая бледное от жары небо диким, прихотливым узором.

Усадьба и разные хозяйственные постройки, разбросанные под косогором в полуверсте от Петунникова, показались ему ненужными и неприятными в этой мирной, солнечной тишине. Вид человеческого жилья сразу настроил его тревожно и подозрительно. Времени прошло слишком достаточно для того, чтобы по крайней мере на сто верст в окружности стало известно о вчерашнем. И не будет ничего удивительного, если первый же встречный взглянет на него косо, пойдет к другим, расскажет о своей встрече и таким образом сделает массу неприятностей, из которых самая важная и самая непоправимая – смерть.

Он сидел мокрый от пота, злобно кусая потрескавшиеся губы, и злобно смотрел вдаль, где, загораживая угол хорошенькой, небольшой усадьбы, кудрявилась и толпилась в желтизне полей темная зелень сада. Оттуда, как стан ленивых, беспечных врагов, смотрели красные железные крыши сараев, изгороди, окна и трубы. Все это пестрой, солидной кучкой лезло в глаза Петунникову, как бы противопоставляя свою оседлость его риску и заброшенности.

А он сидел, затягиваясь последней папироской, и соображал, что поблизости должно быть село или деревня, а значит, и дорога, на которую нужно выбраться. Голод мучил его, молодой, едкий голод, и от этого слегка тошнило. Ноги распухли и, как обваренные, горели в узких, тяжелых сапо-

гах. Дрожали руки, тяжесть усталости давила на ослабевший мозг, путала мысли, и мучительно, с тоскливым, напряженным остервенением во всем теле хотелось пить и пить без конца блаженно-сладкую, хрустальную, ледяную воду.

Там, в усадьбе, вода, конечно, есть, и ее много. Ее так много, что это кажется даже издевательством. Она там везде: в глубоком, сыром колодце, в больших пожарных чанах, в водовозных бочках. На кухне – в крашенных, пахучих ведрах, в самоваре, в умывальнике. В граненом, светлом графине где-нибудь на чистом белом столе. В желудках людей, живущих там.

Петунников скрипнул зубами и ожесточенно сплюнул. Еще бы там не было всего этого! Какое полное, прекрасное наслаждение войти сейчас в чистую, солидную комнату, сесть за чистый, аппетитно убранный стол, потянуться к холодному, запотевшему графину с прозрачной водой, сдерживая изо всех сил тоскливое, слепое желание пить прямо из горлышка, безобразно и жадно, как загнанная, вспотевшая лошадь. Да! Но удержаться, налить в стакан медленно, очень медленно и осторожно поднести к губам. Сделать маленький глоток, судорожно смеясь и вздрагивая от нестерпимой утоляемой жажды.

Тогда остановится время. Наступит светлая тишина, и мысли исчезнут, только холодная струйка, булькая мерными, жадными глотками, устремится по пищеводу, медленно исцеляя жгучее раздражение внутренностей. Напившись

и передохнув, хорошо налить в белую глянецвитую тарелку горячих щей с крапивой и крутыми яйцами, отрезать хлеба, пахучего, теплого, свежеиспеченного, с поджаристой коркой. Взять мяса с жиром и хрящиками. Есть без конца, полно и восторженно наслаждаясь едой; потом лечь в чистую, мягкую кровать, скинуть болезненно раздражающую одежду, вытянуться и замереть в сладком, глубоком забытье.

– Тьфу!..

Петунников встал и выругался. Конечно, там живут сытые, обеспеченные люди, мелкие паразиты, сосущие неустанно и жадно крестьянский мир. Но что ему за дело до них, обывателей, погрязших в беркширских, йоркширских и прочих свинных культурах, в картах и двуспальных кроватях, в навозе и огородах! Он, загнанный, но свободный, далек от зависти. Разве не от них, не от сереньких, сытых будней ушел он в свободную страну мятежного человеческого духа, ради ценности и красоты единой, раз полученной, не повторяемой жизни?

Мысль эта, рожденная тревожной минутой слабости голодного, разбитого тела, неумолимо заявляющего о своем праве на жизнь, скользнула перед глазами Петунникова холодно и скупно, как чужая, прочитанная в книге, без малейшего прилива душевной бодрости и нервного подъема. По-прежнему острые, мучительные желания неотступно обращали его глаза туда, где жили чужие и, уже в силу своего положения, враждебные ему люди. Отогнав усилием воли при-

зраки распаленного воображения, он встал и нерешительно двинулся вперед.

Усадьба, как магнит, притягивала его. Исступленное желание пить во что бы ни стало быстро убило всякие опасения, и он, шагая все торопливее, уже думал о том, что в саду, быть может, никого нет, и при некоторой осторожности можно, оставаясь незамеченным, найти какую-нибудь лейку или садовую дождевую кадку.

Но чем ближе подходил он к усадьбе, зорко разглядывая дорогу, тем сильнее овладевало им усталое безразличие и равнодушие к каким угодно встречам. Возможно, что это был результат впечатления, произведенного тихой и безлюдной местностью, но нестерпимая жажда, распаляемая ожиданием близкого удовлетворения, быстро превратила недавнюю осмотрительность в холодное и злое упрямство. Уверенно, как человек, знающий, чего он хочет, Петунников пересек широкую пыльную дорогу, отделявшую от него сад, перепрыгнул канаву, нырнул в затрещавшие кусты и чуть не вскрикнул: прямо перед ним за изгибом аллеи блестел маленький тенистый прудок, густо укрытый орешником и высокими липами.

Перебежать аллею, спуститься по обрывистому выступу заросшего осокой берега к доскам, положенным на вбитые в дно пруда колья, упасть на колени и жадно, до самых ушей, погрузить лицо в теплую, глиноватую воду было для Петунникова делом нескольких секунд. Две-три минуты он пил, не

отрываясь, тяжело дыша, захлебываясь, фыркая и не сознавая ничего в мире, кроме своего мучительно наслаждающегося тела и воды, пресной, теплой, гниловатой, восхитительной жидкости...

Он пил, судорожно сжимая руками влажные, скользкие края досок, а над его головой чирикали воробьи, расстилась жаркая, отдаленно звенящая тишина; в уровень глаза на поверхности расходящейся тихими кругами воды колыхалась зеленая, остроконечная травка. И когда невдалеке где-то раздался неожиданный, злобный собачий лай, Петунников уже напился. Он встал, сообразил, что бежать от собаки, если она лает на него, бессмысленно, потому что внушит прочные подозрения, надел шляпу и приготовился.

Х

– Вы не бойтесь! – сказала Елена, смущаясь и останавливаясь. – Он не кусается... Полкан! Негодяй! Назад!..

Водолаз гавкнул еще раз, два, и с неудовольствием, оглядываясь на незнакомца, побежал к хозяйке. Петунников снял шляпу, вежливо кланяясь и чувствуя, что смущение неожиданно появившейся женщины не заражает его, а, наоборот, лишает той легкой растерянности, которую он испытал в первый момент. Пристально рассматривая Елену, молодой человек шагнул вперед и сказал:

– Извините меня, сударыня!.. Я неожиданно... Мне страшно хотелось пить...

– Он не кусается, – сдержанно повторила она, быстро оправляясь и, в свою очередь, меряя незнакомца острым любопытным взглядом. – На чужих он только лает, если заметит...

Желание спросить, кто он и зачем здесь, было так явно написано на ее лице, что Петунников почувствовал неловкость затягивать далее объяснение. Привычка лгать в критических моментах не изменила ему, подсказав и в этот момент нужные, похожие на правду слова. Он заговорил без всякого видимого усилия, спокойно и просто:

– Еще раз простите, сударыня!.. Я заблудился и целые сутки шатался здесь, вот в этом лесу. Моя фамилия Годунов. Я

старший телеграфист на станции Курбатово, и вот... Воды в лесу не мог найти... Почти с ног валился от жажды... Потом выбрался, наконец, увидел эту... вашу – если не ошибаюсь?

– усадьбу и пустился со всех ног. А когда подошел ближе, то увидел пруд... терпенья не хватило, набрался смелости и... чему обязан теперь встречей с вами, сударыня!

Пруд не был виден снаружи, но Елена не заметила лжи и продолжала стоять, сильно заинтересованная. Петунников показался ей, никогда не ходившей в лесу более часа, человеком, ускользнувшим чуть ли не от смертельной опасности.

– Почему же обязаны? – спросила она довольным голосом, подходя ближе и доверчиво улыбаясь. – Но это возмутительно: пить эту гниль... Вы бы зашли в дом, как же так... Нет, вы несчастный человек. Целые сутки! Даже подумать страшно... Но как же вы спали?..

– Да никак! – усмехнулся Петунников, начиная приходить в хорошее расположение духа. – Зажег костер, сидел, думал, курил и размышлял о том, что меня, наверное, хватились и ищут... Да... Было сыро, холодно; ели меня комары, кусали мошки, какие-то зеленые лесные клопы лезли в нос... Плохо!..

– Вот удивительно! – протянула Елена, смотря на него широко открытыми глазами. – Значит, вы не боялись? Ведь у нас тут и медведи есть...

– Медведь на человека первый никогда не нападает, – возразил гость, и вспомнил, что хорошо бы узнать, известно

здесь что-нибудь или нет. Но сделал он это, из осторожности, намеком, небрежно добавив:

– Самый опасный враг человеку – человек. А здесь, кажется, тихо, хулиганов не водится... Да и откуда?..

Он подождал немного, но Елена молчала, и только детское любопытство светилось в ее больших темных глазах. Значит, нет!

– Я, – продолжал Петунников, окончательно входя в роль, – в свободное время немного ботанизирую, собираю растения... Вот и вчера – пошел отыскивать одну разновидность... увлекся, незаметно наступил вечер, а ушел я далеко. Служу я здесь тоже недавно, месяц и местности не знаю... Так вот и вышло все...

– А вы, может быть... голодны?.. – нерешительно спросила Елена, конфузясь и лохматя голову Полкана. – Так пойдемте... позавтракать... И чай... Меня зовут Елена Дмитриевна... Пойдемте!..

– Да что же... – замялся Петунников, вздрогнув от удовольствия и каких-то неопределенных сомнений. – Я не знаю... боюсь, что ваше семейство... быть может... Я не так уж голоден, конечно... но... все же давно не ел...

– Вот именно... – расхохоталась Елена. Этот загорелый мужчина в синей тужурке и охотничьих сапогах начинал ей нравиться. – Вот именно, вы давно не ели, и потому-то вам не нужно церемониться. А что касается семейства, то оно все перед вами... Я совсем одна, а муж в городе... Пойдемте,

пожалуйста!..

Смущение ее совсем прошло, и держалась она теперь так же лениво и просто, как всегда. Петунников испытывал легкое возбуждение и острое любопытство к самому себе, неожиданно попавшему гостем к незнакомым, так кстати подвернувшимся людям. И когда Елена, еще раз взглянув на него ободряющими, внимательными глазами, пошла вперед, он послушно тронулся вслед, кусая нервно улыбающиеся губы и напряженно обдумывая, какую выгоду можно извлечь из настоящего положения.

– Вы, пожалуй, очень далеко забрались от станции, – сказала Елена, нарушая короткое молчание. – Как вы теперь думаете?

– Да что же... как-нибудь. Тут, вероятно, верст десять... Дойду пешком.

– Десять?! – засмеялась она. – Верст тридцать, лучше скажите!.. Впрочем, вы можете с ближайшей на поезде. А вот розы, – прибавила она, с достоинством указывая на пышные кусты, алеющие нежными, бархатными цветами и бледными бутонами. – Я сама за ними ухаживаю... Только их очень мало, к сожалению... А если бы засадить целый сад, вроде как долина Казанлыка... знаете?.. Еще мыло такое есть... Вот это наш дом... Вы очень устали?

– Да, порядочно, – ответил Петунников, насилу передвигая ноги. – Не столько я, пожалуй, даже устал, сколько вообще ошеломлен...

Он с любопытством и подмывающим напряжением осматривался вокруг, зорко отмечая на всякий случай все аллеи и дорожки, стараясь сообразить и запомнить расположение места.

– Чем ошеломлены? – спросила Елена, щурясь от солнца и беглых, порывистых мыслей. – Ах, да, конечно, Полкан вас изрядно напугал. Но вы посмотрите зато, какой у него теперь виноватый вид. Ага, плутишка!

Она обернулась и погрозила пальцем Полкану, замыкавшему шествие с самым беспечным и ленивым выражением морды.

– У вас, должно быть, село есть поблизости, – сказал Петунников, соображая, что нужно воспользоваться случаем и ориентироваться. – Это я к тому говорю, что придется мне нанимать мужика.

– Да, конечно, село... Медянка, – подхватила Елена. – Тут, под горой, версты четыре. От него и лес свое название получил... А там, – она махнула рукой в сторону, противоположную той, откуда пришел Петунников, – там станция, восемь верст отсюда... Кажется, соседняя с вами – Бутовка.

– Бутовка... Да... – рассеянно сказал он, с изумлением представляя пространство, пройденное им за эти сутки. Судя по расположению леса, огромным, синеющим полукругом стянувшего горизонт, пространство это равнялось по крайней мере верстам шестидесяти... – Да, да... Бутовка.

– Путешествие кончено! – заявила Елена, встряхивая го-

ловой. – Вот, пожалуйста!

Дом показался Петунникову красивым и приветливым. Большая затянутая серой парусиной терраса бросала короткую тень на яркий песок дорожки. Тут же стояли кадки с олеандрами и плющом, прихотливо взбегавшим под навес крыши дикими, висячими узорами. Немного подальше пестрели длинные деревянные ящики, полные земли и цветущих растений. Все это было знакомо, видено сотни раз и слегка жутко. Неожиданно встреченная обыденность вместо сложных и тяжелых переживаний, которых Петунников был вправе ожидать для себя на каждом шагу, производила на него отупляющее и тревожное впечатление, хотя все вокруг дышало знойным деревенским покоем летнего дня.

XI

С наслаждением уселся он в мягкое плетеное кресло, глубоко вздохнул, и, когда Елена, извиняясь за свой капот, куда-то ушла, почувствовал себя так покойно и просто, как если бы всегда жил здесь, сытно и рано обедал, пил в саду чай с вареньем и сливками, а по вечерам, захватив удочки, отправлялся на ближайшую речку и приходил назад голодный, довольный и грязный.

От усталости ли овладело им такое настроение, было ли это результатом сознания временной, но, по-видимому, прочной безопасности, только Петунникову было хорошо, слегка грустно и с удовольствием думалось о близкой и, вероятно, вкусной еде. По стенам большой, веселой комнаты с прочной желтой мебелью и резным дубовым буфетом висели гравюры с изображениями пейзажей, маленькие жанровые картины, а на китайских полочках в зеленом и белом стекле бокалов томились левкой и гвоздика. Солнце ударяло в большие, настежь растворенные окна с белыми занавесками и двигало на полу трепетные тени листы. Озабоченно стучал маятник круглых стенных часов, лениво жужжали мухи, бороздя черными точками прохладную воздушную пустоту.

И снова показалось Петунникову, что ничего не было... Нет ни поезда, ни погони, ни тюрьмы, ни виселицы. И даже думать об этом смешно и странно здесь, в тихом захолу-

стью уездной жизни. Револьвер, оттягивающий карман брюк и натирающий кожу, кажется единственным во всем мире, заряженным по ошибке и случайно купленным, как ненужная вещь... Там, в городе, волнуются и ждут... А быть может, уже знают, и даже наверное знают, чем кончилось все и что предстоит в будущем... Там жгут и прячут разные документы, уезжают, спешно меняют квартиры, фамилии...

Но вот идет кошка, лениво облизываясь и выгибая спину: садится, жмурится и плотоядно смотрит, как прыгают по дорожке пыльные, взъерошенные воробьи. Вот где-то кричат гнусливо и сонно: должно быть, зевают при этом, чешут подмышки и бранятся... За окном в просветах листвы желтеет далекая рожь, и сейчас придет молодая, красивая женщина; будут есть и говорить, что попало, охотно и просто.

Он закрыл глаза, напряг мысль, но не было города. Так, в отдалении, маячило что-то большое, расплывчатое и сложное. А была усадьба и сладкие деревенские будни, полные мирного солнца и вкусных, раздражающих мыслей о близкой еде.

Петунников криво усмехнулся. Жизнь эта жестока и бессмысленна, неприятна и равнодушна. Медленно ползет в ней привычная скука, без воли, без ожидания. Ровное, тепленькое существование, согретое и освещенное солнцем, но не раскаленное, не воспламененное им. Комнаты, обстановка, денежные расчеты, хозяйство, «Нива» и выкройки.

Задумавшись и обрывками мысли стараясь проскользнуть

в темное ближайшее будущее, он не заметил, как вошла Елена, и вздрогнул при звуках ее голоса. В сером изящном платье, обнажавшем полные белые руки, она показалась ему серьезнее и сосредоточеннее. Но настроение ее было, очевидно, то же: оживление и желание быть интересной сквозило в больших ясных глазах, полных блеска и удовольствия.

– Вот и подадут сейчас, – мягко улыбнулась она, присаживаясь к столу.

– Потерпите немножко... Ну, как вам нравится наше место?

– Я в восторге, – сказал Петунников, садясь на другой стул и не зная, что делать со своими огромными пыльными сапогами. – Особенно, сад... Говорят, нынче редко можно встретить хороший сад у помещиков... Все заброшено, запущено... Впрочем, сразу видно, что вы любите цветы и художница в этом отношении...

– Ах! – засмеялась она, краснея от удовольствия. Телеграфист был, по-видимому, воспитанный человек, говорил свободно и непринужденно, что ей очень нравилось. – Тут что... Так себе... одни тюльпаны да розы... Да, нынче многие разорились, поуждали... Все беспорядки, пожары... Наш уезд, впрочем, спокойный... Мужики здесь зажиточные, так что... спокойно.

Петунников промолчал, ограничившись короткой улыбкой. В тоне и голосе собеседницы, когда она заговорила о мужиках, ему послышалось обычное легкомысленное и глу-

хое непонимание творящегося вокруг.

– А так... скучно здесь, – продолжала Елена, кокетливо морща свой гладкий розовый лоб. – Так как-то все идет... через пень колоду... Сидишь и думаешь иной раз: скоро ли день кончится? Я ведь сегодня страшно обрадовалась, что вы мне попались, – расхохоталась она, поправляя прическу и вспоминая натянутое, неловкое выражение лица Петунникова в первый момент встречи. – А попались, так я уж вас не выпущу так скоро... Вот и напугала вас... Все-таки хоть новый человек... А то, право, иной раз так даже думаешь: хоть бы мужики погром устроили... Такие лентяи! Все же хоть спастись бы пришлось или хоть струсить порядком... Хоть бы ригу подожгли!..

Петунников сидел, слушал, и казалось ему, что журчит маленький, беззаботный ручеек. Журчит себе и журчит...

– Так что же! – встряхнулся он, стараясь побороть слабость и оцепенение. – Погром, если хотите, можно устроить, и даже скоро. Стоит вам захотеть.

Он сказал это без улыбки, с серьезным лицом, и Елена сперва рассмеялась, а потом вздохнула, думая уже о другом:

– Я не робкая. Устраивайте себе... А я возьму ружье и буду стрелять... У нас есть, у Гриши. Гриша – это мой муж, – сообщила она, прищуриваясь и закусывая нижнюю губу. – Что же это она возится там? Глафира!

XII

Вошла белобрысая, здоровая женщина в затрапезном ситцевом платье и стала медленно накрывать стол, искоса бросая на Петунникова тупо-любопытные взгляды. Он, в свою очередь, внимательно посмотрел на Елену. Но хозяйка занялась возней около буфета, доставая оттуда соусники, закуски и, по-видимому, совсем не заботясь о том, что и как подумает прислуга о незнакомом загорелом человеке. Это понравилось Петунникову. Видно было, что хозяйка ветреная, своевольная женщина, и в то же время что-то неуловимое сближало ее в глазах революционера с женщинами его круга. Это был, конечно, психологический обман, но простота ее движений и жестов, соединенная с непринужденностью обращения, казалась бы вполне естественной среди его товарищей.

За завтраком Петунников ел много и основательно, всячески следя за собой и удерживая челюсти от жадных, торопливых движений. Все казалось ему необычайно вкусным, даже манная каша на молоке, к которой он раньше всегда чувствовал большое предубеждение. Занятый насыщением, он говорил мало, изредка роняя «да» или «нет», а Елена охотно и с большим оживлением рассказывала о разных пустяках, ежеминутно перескакивая с предмета на предмет. Иногда казалось ему, что она жалуется на что-то, но лишь только он начинал схватывать нить ее мысли, она вдруг, без всякой

связи с предыдущим, принималась рассказывать о каком-нибудь Петре, который третьего дня напился и попал в кадку с водой. Лицо ее смеялось и менялось ежеминутно; казалось, что оно, как цветок, живет своей особенной, занимательной жизнью, далекой от соображений садовника, бросившего в землю серые семена.

Беспокойная мысль о том, что надо встать, идти, обеспечить себя от роковых, возможных случайностей, вспыхивала в голове Петунникова и тотчас пропадала куда-то, словно проваливалась, растопленная утомлением и ленивой тяжестью одурманенного тела. Уже не было тревожного, нервного желанья двигаться, чтобы заглушить болезненную настроенность души, а хотелось сидеть и не вставать, с полным желудком и рыхлыми, сонливыми мыслями, сидеть, пока не стемнеет и не засветятся в душной, прозрачной тьме дали маленькие, кроткие огоньки.

Тогда раздеться, свалиться в постель и уснуть.

– Вот и покушали, – сказала Елена, когда гость доел последний кусок и налил в стакан воды. – Ну, как чувствуете себя теперь?

– Как птица Рок², – усмехнулся он, смотря на молодую женщину неподвижным, тяжелым взглядом. – Большое вам спасибо. Знаете, есть в сказке птица Рок, весьма прожорливая... Несет, например, на себе какого-нибудь царевича и все кушать просит. А тот уж все мясо ей скормил. Видит, что

² Птица Рок – предвестница судьбы.

дело плохо, давай себя на куски резать да ей в рот совать... Так и доехал к своей царевне: лечился потом...

– Какая же вы птица Рок? – серьезно возразила Елена. – Ведь я же не царевич и вы не меня кушали... А потом птица проголодь была, а вы наелись...

– Верно, – согласился он, с трудом удерживаясь от зевок. – Да я так болтаю. Голова тяжелая, а мысли вялые.

– Это оттого, что вы не спали ночью, – озабоченно сказала Елена. – Вы бы отдохнули у нас... А все-таки расскажите, как это вы там ходили? Лешего не видели? Мужики уверяют, что есть лешие.

– Леших я не видел... – начал Петунников, стараясь подержать разговор, – но...

Послышался легкий скрип, и он оглянулся.

Дверь тихо отворилась, пропуская вспотевшее, румяное лицо горничной. Глафира широко улыбнулась, сверкнув крупными зубами, хмыкнула и сказала:

– Барыня! Туточки к вам из города приехали. Купец али подрядчик какой, здесь ни разу не бывал, только сказывают, что по делу к Григорию Семенычу... Я, – продолжала она, мельком бросая на Петунникова быстрый, остро-любопытный взгляд, – сказала им, что барин в городе, а вы одни... А они, говорят, желают, когда так, вас видеть...

– Ах, господи... Ну, проси в гостиную... – сказала Елена, неохотно вставая и рассеянно улыбаясь Петунникову. – А как его фамилия?

– Да... как его... Вроде... Барк... каб... Баканов, что ли?..
Я скажу им!

Дверь закрылась. Петунников встал и выпрямился, чувствуя, как сразу исчезает спокойное равнодушие, сменяясь обычной нервной приподнятостью и ожиданием. Видеть подрядчика ему не хотелось; не хотелось, чтобы и он видел его. А это почти невозможно; из города на несколько минут сюда никто не поедет.

Подрядчик... Господа эти любопытны и страшно разговорчивы. Кроме того, пустой, невинный рассказ о каком-то заблудившемся человеке может поднять на ноги всю окрестную полицию. Он сдержал вздох и быстро-быстро стал сообщать, как уйти теперь так, чтобы это было просто и естественно...

– Вот тебе и раз! – протянула Елена. – Что же мне с ним делать?

Петунников напряженно молчал. Возможно, что подрядчик, как городской человек, знает все, что произошло на небольшом расстоянии отсюда, верстах в пятнадцати. Даже удивительно, как здесь еще ничего неизвестно; и это – счастье. Нет, надо уйти, и уйти немедленно.

Он внутренне встряхнулся, с удовольствием чувствуя, как вспыхнул и загорелся инстинкт самосохранения, обостряя нервы резкой, напряженной тревогой. Сильное беспокойство, вызванное не столько настоящим моментом, сколько внезапным толчком болезненно-яркого воображения, сразу

показавшего Петунникову всю важность положения, всколыхнуло кровь и звонким криком ударило в голову. Да, он уходит, пора... Хорошо, что сыт: есть силы к дальнейшему.

– Эти подрядчики у меня вот где сидят, – недовольно говорила Елена, обдергивая рукава и машинально взглядывая на дверь. – Шатаются сюда каждую неделю и все говорят, что по делу... Это они нашу рощу хотят купить... А приедут – сидят, сидят, чай пьют, а потом: «Много благодарны!» – фюить, и нет его... Им, видите ли, дорого кажется, привыкли за бесценок... Гриша только раздражается... А я бы на его месте за сто рублей продала, хоть от гостей бы избавились... Пойдемте в гостиную...

– Елена Дмитриевна! – сказал Петунников, натянуто улыбаясь и с раздражением чувствуя, что внезапный уход его для хозяйки будет нелеп и необъясним. – Я, в сущности... ведь... уже собрался... идти... У вас, кстати, гость... А мне пора...

– Да что вы сочиняете? – удивилась Елена, подходя к нему. – Вот мило с вашей стороны! Как можно? Зачем!.. Нет, вы уж не торопитесь, пожалуйста!.. Сейчас чай будем пить, а потом... если вы уж так торопитесь... вам запрягут плетушку... Как же можно так?

– Да нет... – с усилием возразил Петунников, проклиная предупредительность хозяйки, делавшую его отказ еще более странным. – Не могу, право... Мне давно пора... дежурство там... Я, кажется, сегодня дежурный... и... все такое...

– Да что вы так вдруг? – с недоумением спросила Елена, внимательно, готовая улыбнуться, рассматривая бледное, осунувшееся лицо гостя. – Разве пешком вы скорее дойдете? У нас очень хорошая лошадь, уверяю вас...

– Да нет же, – нервно усмехнулся Петунников, волнуясь и еще более запутываясь. – Тут ведь... близко. Я, впрочем... в селе... да... найму мужика... вот, именно, я так и сделаю...

Его сбивчивый, но возбужденный и решительный тон как-то невольно отстранял всякие возражения, и Елена почувствовала это. Рассерженная, жалея, что не умеет заставить принять свое предложение, она пожала плечами, принужденно улыбнулась и протянула тихим, нерешительным голосом:

– До села ведь тоже не близко... Но – как хотите... Не буду настаивать... Так вы сейчас уходите?

– Да, – глухо сказал он, надевая шляпу и уже вздрагивая от нетерпения уйти, не видеть чужих, спокойных, ничего не знающих людей. – Сейчас... Ну, до свидания!.. Всего хорошего вам... Спасибо!..

– Помилуйте! – засмеялась Елена. – Вот вам, действительно, я очень благодарна... Мне было так скучно... Очень, очень жалею...

Она протянула руку, и Петунников сдержанно пожал ее. Глаза их на мгновение встретились и остановились.

Один был недоумевающий, озабоченный взгляд женщины, от которой уходили порывисто и странно, совсем не так,

как это делают все. В другом светились глубокое утомление, затаенная тревога и ровная, холодная тоска.

Уйдет он, и ничего не изменится... То, что для него, благодаря счастливой случайности, явилось сегодня запасом сил наболевшему, голодному телу, останется в памяти этого маленького, взбалмошного существа легким и забавным воспоминанием о каком-то телеграфисте, которому от невыносимой скуки дали поесть. Он развлек ее – и довольно. Сегодняшний день спасен. Есть тема для разговоров с Гришей и умиление перед собственной добротой... А завтра можно ожидать еще чего-нибудь: пьяной драки, сплетен, богомолки из святых мест...

Все, что было сделано и подготовлено там, в городе, с невероятной затратой сил, здоровья и самоотвержения, с бешеным упорством людей, решившихся умереть, опасность, страх смерти, сутки звериного шатания в лесу, – все это пережилось и выстрадалось для того, чтобы у пустенькой уездной помещицы стало меньше одним скучным, надоевшим днем...

Петунников выпустил руку Елены, и внутри его дрогнул холодный, жестокий смех. Всего несколько слов – и сразу исчезнет мнимая беззаботность этого птичьего гнезда... Несколько слов – и все хлынет сюда, в мирную тишину сытенькой двухспальной жизни: испуг, бешенство, злоба, бессонница и неуловимое, грозное дыхание смерти, следящей за ним, Петунниковым, как тень его собственного тела, неот-

ступно и тихо...

Был момент, когда показалось ему, что он этого не делает. Но тут же, задыхаясь и вздрагивая от злобной тоски и радостного предчувствия неожиданного удара беззаботному, глупенькому существу, олицетворившему в этот момент все многообразие тихой, предательски-тупой и бесконечно враждебной ему, Петунникову, жизни, он быстро шагнул к Елене и, уже не сдерживая мучительно сладкого желания отдаться во власть хлынувшего порыва, сказал высоким, глухим голосом:

– А ведь я не телеграфист... Я обманул вас, вот что... Я не телеграфист, а революционер... Я вчера вместе с другими... хотел ограбить поезд... И спасся. Поэтому ухожу... Да... Тороплюсь!

– Как, – растерялась Елена, пораженная не столько этими, дико-невероятными словами, сколько порывистым, напряженным волнением его взгляда и голоса. – Вы?.. Как?!

– Да... – повторил Петунников, страшно возбуждаясь и чувствуя, как его бурный, сдавленный трепет заражает Елену, – в обморок, однако, не падайте... Я уйду и... более вас не побеспокою...

Елена с испуганным непониманием смотрела на него окаменевшими, расширенными глазами, и вдруг сильно побледневшее лицо Петунникова таинственной силой искренности сразу сказало ей, что его слова – правда.

В первый момент все ее существо всколыхнулось и замер-

ло в тупой, бессильной растерянности. Потом, быстро возбуждаясь и бледнея, как он сам, Елена отступила назад, пытаясь улыбнуться и сказать что-то, но мысли с нелепой быстротой роились и падали, не останавливаясь и не оставляя в голове нужных, уместных слов. Это был не страх, а мгновенная удивительная перемена во всем окружающем, ставшем вдруг замкнутым и чужим, и казалось, что сам воздух молчит вокруг них, а не они, два снова и внезапно столкнувшихся человека.

– Вы шутите! – с трудом произнесла Елена, жалко улыбаясь и часто, глубоко дыша. – Я вам не поверю... слышите?!.

– Нет, – также теряясь, сказал Петунников, не зная, что сказать дальше, и испытывая тоскливое мучительное желание уйти. – Да... Извините. Впрочем... не бойтесь... Я... до свидания!..

И тут, испуганно радуясь тому, что нашла и выяснила себе, как ей казалось, самое важное и страшное, Елена перевела дыхание, раскрыла еще шире темные, затуманенные волнением глаза и тихо, почти торжественно сказала то, что хлестнуло ее в мозг порывистой, содрогнувшейся жалостью к чужой, гонимой и непонятной жизни.

– Если правда... если правда... то как же вы? Вас поймут... и вот... казнят!

– А вам что? – грубо и неожиданно для самого себя, наслаждаясь этой грубостью, сказал Петунников, с нервной улыбкой отступая к дверям. – Не вас же повесят, я думаю! И во-

обще... чего вы волнуетесь?..

Сказав это, он почувствовал темную, тихую жалость к себе и выпрямился, бешеным усилием воли растаптывая нудную, тоскливую боль заброшенности и утомления. Говорить было уже нечего, и он понимал это, но продолжал стоять, как будто молчание, а не слова, могло разорвать внезапную тяжесть, ступившую твердой, жесткой ногой в напряженную тишину. И когда Петунников, механически направляясь к выходу, сказал коротко и тихо «прощайте!» – оглянулся на бледное лицо маленькой встревоженной женщины и вдруг решительно и быстро пошел вперед, – ему показалось, что не он, а кто-то другой сказал это последнее слово... Кто-то, ждавший ответа, простого и ясного, на мучительный приступ слабости, злобы и тоски...

Он шел почти бегом, не оглядываясь, все быстрее и быстрее, с тяжелым, больным озлоблением на всех и на себя самого, затравленного, беззащитного человека. Голубой полдень ткал вокруг жаркие сетки теней, провожая его с невысокой террасы неотступным, пристальным взглядом женщины.

– Погодите! – слабо закричала она, пытаясь что-то сообщить. – Постойте!..

Голос ее прозвучал высоким, неуверенным выкриком и стих, перехваченный солнечной тишиной. Торопливо и остро, как немой взволнованный человек, бессильный заговорить и порывистодвигающий всем телом, стучало сердце,

зажигая тоскливое, темное раздражение. Было томительное желание зачем-то нагнать, остановить этого, ставшего вдруг таинственным, жутким, кого-то обидевшим и кем-то обиженным человеком, тщательно рассмотреть его загорелое, обыкновенное лицо, казавшееся теперь хитрой, безжизненной маской, под которой спрятан особенный, редкий, пугающе-любопытный мир. Она даже задрожала вся от жгучего нетерпения и острого, мучительного беспокойства. Не было телеграфиста, а был и ушел кто-то невиданный, как дикий, тропический зверь, унося с собой свою тщательно огороженную, неизвестную жизнь, о которой вдруг неудержимо и страстно захотелось узнать все.

Смутные, бесформенные мысли громоздились одна на другую, сталкивались и бесследно таяли. Он был здесь, сидел, ел – и притворялся. Смотрел на нее – и притворялся. Говорил любезности – и притворялся. Все было в нем ложь: каждый шаг и жест, взгляд и дыхание. И думал он свое, особенное, был и здесь и не здесь, он и не он... Нет! был он, уставший от долгого шатанья в безлюдном лесу, неловкий и жадный, измученный и шутливый. И вдруг не стало его, а ушел кто-то другой, вспугнутый неожиданной, понятной только ему тревогой, странный и злой.

Елена растерянно смотрела в пустую зеленую глубину аллеи. Было жарко и тихо, но в этой тишине остались глухие, безыменные желания, и глубокое волнение женщины, заглянувшей испуганными большими глазами в огромную слож-

ность жизни, недоступной и скрытой. И было, вместе с бессилием мысли, с грустным, тоскливым напряжением взволнованных нервов, неясное, молчаливое ожидание, словно кто-то обидел ее, как ребенка, грубо и беспричинно, не до сказав яркую, страшную сказку...

Елена медленно повернулась и пошла назад в комнату, забыв о подрядчике и обо всем, усиливаясь вспомнить и уловить что-то, мгновенно показавшееся виданным вот теперь и еще когда-то раньше, давно... И вдруг тупое напряжение мысли разом исчезло: она вспомнила и облегченно вздохнула. Это было то, что так странно показалось ей перенесенным из минувшего в сегодняшний день.

...Уездный город, темная, душная улица... Отдаленная музыка, брошенная случайным ветром в теплую воздушность летнего вечера... Да, сегодня нет музыки, и это было тогда. А тогда мгновенная грусть вспыхнула и угасла в сонной тишине мрака, зажигая желание пойти на бульвар, откуда долетел обрывок мелодии, сесть и прослушать до конца...

Петунников выбрался к лесу той же самой прямой, цветущей межой, перевел взволнованно дыхание и остановился.

Несколько минут он стоял и смотрел вниз в странном оцепенении, желая идти и не двигаясь, вспоминая и раздражаясь...

И казалось ему, что там, за далекими, такими маленькими отсюда, деревьями сада, у тихого пруда и в аллее, где солнце обжигает розовые кусты, и в комнате, где живет милая,

беззаботная женщина, осталась живая боль его собственно-го, тоскливо загоревшегося желания спокойной, ласкающей жизни, без нервной издерганности и беспокойства, без вечного колебания между страхом тяжелой, циничной смерти и полузадушенным голосом молодого тела, властно требующего всего, что дает и протягивает человеку жизнь...

Петунников встрепенулся, стиснул зубы и, повернувшись спиной к бархату хлебных полей, резко поймал свою мысль. Но даже наедине с самим собой, даже про себя он назвал ее только развинченностью и слабостью. Это бывает со всяким, а значит, и с ним. Особенно после сильного нервного потрясения.

А он – он прошел шестьдесят верст...